

константин кравцов

арктический лён

Русский Гулливер

Константин Кравцов Арктический лён. Стихи разных лет.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27051253

Арктический лён Стихи разных лет:

ISBN 978-5-91627-192-8

Аннотация

Константин Кравцов автор пяти поэтических книг. Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Интерпоэзия», «Воздух», «Арион», «Зинзивер», «Плавучий мост», «День и ночь», «Урал», «Волга» и др. В 1999 году принял священный сан в Ярославле (Ярославская епархия Московской Патриархии). Лауреат международного Филаретовского конкурса христианской поэзии в интернете (2004) и нескольких литературных премий, в том числе – специальной премии Союза российских писателей за сохранение традиций русской поэзии (2013) и премии за высшие достижения современной русской поэзии журнала «Новый мир» Антология (2013).

Содержание

I		5
	Июнь, а погляди...	5
	Зауралье	7
	Екклесиаст	9
	Ars amatoria I	11
	Сияние и другие явления	12
	I. Сияние	12
	II. Утро	12
	III. Олени	14
	Сны в чужом городе	15
	Москва	17
	Патриаршие пруды	17
	Улица ивовая	17
	De profundis	19
	Слегка подмороженная акварель	22
	Глядя из тамбура	24
	Салехард	25
	Октябрь	27
	Сев. ж.д	28
	Экскаватор	29
	Дорога на старый Надым	30
	Вестник	33
	Родина	34

Волчьи изумруды	35
Лайка по имени Чат2	42
Ночь	44
II	45
Натюрморт	45
В амбулатории	47
Джотто	48
Новочеремушкинская, 11: дождь и разводы на саже	49
Думал найти я...	50
Прогулка	51
Месяц нисан	52
Царство твое	53
Ласточки	54
Венчание	55
Лавра	56
В церкви	57
Неофит	58
Гуляя с дочерью, читающей «Анчар» и подбирающей листья	59
Парк из окна сторожки	62
Ex nihilo	63
Вороний праздник	64
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Константин Кравцов

Арктический лён

Стихи разных лет

I

Июнь, а погляди...

Июнь, а погляди: уже весна.

И тундра – коридор ночной больницы —
не понимает, в чем ее вина,
глядит в себя – глядит, не наглядится
на солнце в тальниковых прутьях сна,
на доски тротуара, на обрывы.

Цветной слюдой зажгутся в три утра
вода и твердь бездомно, прихотливо,
а что до смерти – нет ее, сестра.

Себя в воде разглядывают ивы,
чернилами Татьяны пахнет лед,
и все переливается, плывет

в твоих виденьях, ветреная дива,
и залит светом лестничный пролет.

Зауралье

Пышма – так называлась та река.
Там утром утонувшего искали:
икона доплыла до островка,
где вечерами снег березняка
белей ростков картофеля в подвале.

Я думаю, нашли его едва ли,
и вижу лодку – ту, что прозевали
влюбленные, уснув наверняка,
а после – Лукича на пьедестале,
лачуги в иван-чае, а в воде
церквушки отражаются руины
и есть в них что-то птичье, как везде.

Но что забыл я в этом городке
на кой мне ляд плетеные корзины
с бельем и днища в иле и песке
и те мостки, те голые равнины?

И кто там утонул и почему?
В каком году? И сколько утонуло?
Зачем мне вспоминать, что ту Пышму
сто лет, считай, как тиной затянуло?

Гуляет ветерок в березняке

и облака без видимой причины
во сне летят куда-то налегке,
ракушечник блестит себе из тины
и уплывает лодка по реке.

Екклесиаст

Застрясть из-за тумана в глухомани
в семнадцать лет и кануть в том тумане,
для очерка предмета не найдя:
ну, осень, ну, туман, ну, дробь дождя,
ну, школьница маячит на причале —
сюжет, как рифма «дали» и «печали»,
ненов. Но все сказал Екклесиаст
о новизне и что она нам даст?

...Взрослеть, морозя сопли на Ямале,
грызть яблоки и лаек целовать,
вдыхать о том, как все тебя достали
и плыть, и никуда не уплывать,
гадать, была права ли, не права ли,
на танцах отказав призывнику...

По сходням каблучки ее стучали
и помню Обь, острожную тоску,
закатов вымерзающих скрижали
и то, что теплоход последний ждали,
как ждут последний праздник на веку,
но молоком затягивало дали
и зренье привыкало к молоку.

Еще припоминаю, цвел миндаль и

он цвел напрасно, надо полагать,
но драгоценны мелкие детали:
та, под дождем, струящаяся гать
и снег в луче, прожектор теплохода,
конвойные и те, кого везли
куда-то сквозь туман, где ни земли,
ни звезд над ней. И жаль того уroda,
те гаснувшие доски-горбыли.

И кто в глазах удержит эту воду?
Опомнишься – ан некого винить.
Снег обещает вечную свободу,
но ничего не может изменить.

Ars amatoria¹

Овидия упряжкой лебединой
в какой-то лимб, в какой-то ветхий зев,
Верлена ли снежинками над глиной
сквозь местной выюги варварский распев,
но сколько лилий нежной Прозерпине...

Давно забыл ты ветреницу ту,
давно зима в твоём посмертном Риме,
и снег роится клетками твоими,
витают, угасают налету.

Остыла печь, в углах белеет иней,
фонарь на провалившемся мосту
приснился – то Япония, похоже,
и эти перья, перья на рогоже...

Давно забыл ты ветреницу ту,
но горстка огоньков пустопорожных
сквозь чью-нибудь проступит немоту.

¹ Искусство любви.

Сияние и другие явления

I. Сияние

...яко земля еси и в землю отыдеши.

Бытие

И называлась та земля Ямал,
но говорить я власти не имел
и имени ее не называл.

Оленьих улиц плыл дощатый мел
и звездами до дна промерзших вод
дышала ночь, тепла нам не суля.

Лучи водили вдовый хоровод
и не имела голоса земля.

II. Утро

*Кто ты, восходящая от пустыни,
как бы столбы дыма...*

Сплошных небес замерзшая вода
сугробы крыш, стерильные бинты
и странно узнавать в них провода
и странно сознавать, что это – ты,
что как-то занесло тебя сюда,
жар-птицу, в мерзлоту, что мерзлоты
нам не избыть, но вот заволокло
рассветом полыньи, но вот свело
разрывы, вот украсили стекло,
лучась и тая, льдисты сады,
вот солнце, как забытое весло,
торчит во льдах, не ведая беды.

А впрочем, все на свете – не беда.

Дымы твои прозрачны и слабы,
соломенная сонная вода,
оперены деревья и столбы,
но нет, не улететь им никуда —

им пить, как нам, окраин мерзлоту.

Размоет, растекаясь, бирюза
наскальные рисунки на свету
и всюду льются детские глаза

сквозь перья птиц замерзших налету.

III. Олени

*Светлая погода приходит от севера и окрест
Бога страшное великоление.
Книга Иова*

Их тропы в наших снах, твой самолет,
а шли они куда после забоя,
куда брели сквозь золото слепое?

Вот пажити, где ягель, словно мед
и волен каждый пить его с любовью,
вот скорость набирает самолет.

Олени ищут землю под собою,
струясь сквозь лед.

Сны в чужом городе

1

моя ли кровь остекленела
дерев ли розовых на белом?

и дыма белые деревья
и солнце-жрец – священник в белом —
мое разламывает тело
и кормит дым и кормит корни
деревьев розовых на белом
огромных птиц каких-то кормит
в пространстве одеревенелом

и все на свете – только пища
земля летит не улета
дома на ней – кормушка птичья
и не меняется их стая

2

был я светел как пепел
пепел
что летел и летел
с неба

я пустое селенье встретил
колыбель нашел
полную снега

были сорваны двери с петель
колыбели белы от снега
но по-прежнему день был светел:
только снег
ни земли
ни неба

я пустое селенье встретил
и увидел я землю сверху
колыбель мою
полную снега

и олени брели из первых
дней творения
дети неба

Москва

Патриаршие пруды

Все словно венчанье в разрушенной церкви
со снегом сквозь купол: по кругу, по кругу
все ходим и ходим в полночной столице.

Сырые сапожки твои, твои речи
о том и о сем и как будто «возможно»,
присутствует вместо «аминь» в несуразной
твоей болтовне на Прудах Патриарших.

Пустынна Москва и лишь клюшек удары
с катка, лишь прожектора стылое око,
да отблески-блестки на кроличьей шубке.

Улица ивовая

Вода, вода, бегущая с волос,
и двор глядит в окно, глядит, как пес,
а ты – ты с кем и где? Скажи, ведь есть
там телефон? Метро откроют в шесть

и я свалю. Не жду и слез не лью.

Лишь тюкает и тюкает о жесть
люб-лю-люб-лю-люб-лю-
люб-лю-люб-лю-

De profundis

Весна лупила в тулумбас – трамвайный бубен,
с ума сходили, помню, воробьи
вместо которых в замогильном Салехарде
порхают пуночки, порхают и молчат.

Весна бела, как куропатка в тех широтах
или полярная сова: молчит и смотрит
в льянью синь полутатарский городок —
в сырую, бледную, как немочь, синеву.

Зато по осени бескрайние помойки
в ромашках сплошь, и те колышутся под ветром;
сентябрь – и всё в снегу: он сходит в мае,
а мая не бывает вообще
на родине моей. И догадало ж
меня с моим умом-то и талантом...

Весна. И тюбики, мазилки, богомазы,
как называли нас дизайнеры, а мы
их циркулями, помню, называли;
заглядываешь в книжный – Дилан Томас:
крылатые деревья в птичьем гвалте,
улитка-церковь и вихры, октябрьский ветер...
Но это было позже, а тогда
открылось что-то в сказках Оскара Уайльда

и рифмовался с апельсином клавесин.

А в восемнадцать я ушел в солдаты
и мне теперь все чаще снится Север
где пил когда-то красное вино.

«Баллада Редингской тюрьмы» и «De profundis»,
да вранограй над берегом Полуя —
сны мерзлоты, что там ворочает домами,
как пьяный деревянным языком:
чуть свет стучатся, спрашивают, нет ли
одеколона, земляки? И всюду Север
шаламовский, но листовенница, но
Верлен, не различающий, где глина,
где снег на ней и тоже арестант —
беспутный арестант с лицом ямщицким,
косматый фавн с его *дорогой в рай*.

Березки льются дымом сигаретным.
кривым и талым, блеклым, как они,
в сугробах увязают водовозки,
июнь, а все пурга, пурга, пурга.

Где клавесин? Где лютня? Не слышать их.
Но видишь арфу в северной березке,
ее изгиб. А струны – тот, кто слышит,
услышит и без них твою музыку.

Изгиб, излом и красное вино

меланхоличного забывшегося солнца —
чернила красные для бесконечных писем
Бог весть кому, быть может, и тебе.

Слегка подмороженная акварель

по верхушкам замерзших пихт
утро закралось в вечер
улица смотрит глазами дощатых
автобусных остановок

одинокость белой ночи
солнечное новоселье
видит во сне горностаев

прутья ив
отражения ломкие их

солнце забыло дорогу за горизонт
пишет письма
ясновидящей водой на песке
смотрит на голубятню

пристань и облака-летописцы
плетенье словес
бессловесные письмена
бессонного света
и сваи лачуг
увязли навек
в его золотом помоле

заря начинается с вечера
и до восхода стынет заря
болезненная и пронзительно нежная
как акварель
снов новобранца

Глядя из тамбура

Что я на свете видел
кроме весенней тундры?

Прутики в снеговине,
вечер впадает в утро,
солнце пришло с повинной
и до утра, пропащее,
замерзло блудным сыном.

Снег по оврагам стылым,
десна кровоточащие.

*Ленинград—Воркута,
1987*

Салехард

След утиный на глине да мох, да осока
краесветного лета, замерзшего ягеля лепет,
мощи выбитых шпал, мерзлоты худосочные дети,
бездорожий осенних с ромашками склока
и огарок охотничьей темной избушки
измеряющей осень сырым немигающим оком,
и, как паперть, где денно и ночью торчат побирušки,
берег в зарослях ив, ослабевших от кровопотери —
стекленеющих ив, что и верят всю жизнь и не верят,
что зима не придет: так больные, случайно подслушав
об исходе своем, вспоминают о Боге, но что они помнят,
облетая, как известь – салатная известь покинутых
комнат?

А еще этот ветер, что по свету бродит
и не может найти то, чего не бывает в природе,
а еще эти тучи над Обью – берлоги влекомых
в этот мир небожителей в шкурах медвежьих
и стойбищ дымы, и остроги,
и «тоска лагерей», а еще – ивняковые боги,
самоедов твоих, а еще – сталактиты сияний во тьме
непробудной...

Что за знаменье имя твое, Салехард,
городок на мысу, остов льдами затертого судна,

что за знак – отходящая от заморозки и снова
предзимняя тундра?
А полночное столпотворенье светил над сугробом
аэровокзала,
что родного мне дома родней, этот свет запоздалой
худосочной весны?

Это я. Но зачем твое солнце-ярило,
проступая, как кровь сквозь бинты, сквозь обдорское
небо,
строганиною света подростка вскормило,
высекая его Галатей из слепящего мрамора снега?
И не помнит вода, сколько пришлых и разных обмыла,
и над мысом Ангальским кричат беспризорных
поморников стаи,
и всё видят, кто спят по воздушным и прочим могилам,
ледоходы твои, Салехард, ледоставы, кривые березки да
ивы —
берега забытья, где в преддверии тьмы облаков оседали
обрывы
и сияния жили в ночи, ни на чем зависая.

1984, 2017

Октябрь

Отлетали души от деревьев
и текла, пустынна и тускла,
улица. Куда она текла?
А деревья – может быть, с доверьем
их зарифмовать и все дела?

Да, белы как сажа. Пух да перья.
Свет ли там? Пожалуй, полумгла —
полусвет. Забудь меня. Не верь мне.

Длился вечер. Плавала зола.
и меня к невидимым деревьям
глаз не отводившая звала.

Сев. ж.д

Фазы быстрого сна и не вспомнить те сны,
не свести воедино, и каждый разъят,
каждый сон твой – на чьи-то такие же сны
в заполярных железнодорожной страны
и какого рожна семафоры звенят?

Если мертвые только не знают вины,
значит, все мы мертвы, значит, просто земля
нас не хочет принять? Мы и ей не нужны?

Узловая. Платформы под снегом. И взгляд
сфокусировать не на чем. Око луны —
недреманное око ноябрьской луны
и опять перегоны навстречу летят.

Звезды в водах железнодорожной страны,
детских лагерных кладбищ кресты ли стоят
среди промозглой Вселенной? Созвездья и сны —
Близнецов, Козерога ль какого, Плеяд.

Семафоры звенят. И на кой мы ей ляд,
в самом деле, сдались? И кому мы нужны?

Экскаватор

Чем не работа – расстрел?

Грунтом присыпав едва
свежие ярусы тел,
курят, отходят от рва.

Вышка в ночи не удел
спит под звездой Рождества.

Что ты найти здесь хотел?

Ночь. Экскаватор у рва.
Мост, провалившийся в мел.

Дорога на старый Надым

1

Здесь шпалы облаками затекли
и нет границы неба и земли —
лишь нары на крови, на нарах снег,
сквозь рваный свод сочится мерзлота
и кверху дном несет Генисарет
лодчонку, чья коробочка пуста.

Здесь только пустошь ягельного сна,
что из пустого все не перельет
в порожнее *из нити, из темна*
ни дыма, ни курящегося льна,
ни твой, Васильев, птичий перелет
за нитью нить слоющийся как бинт.
И как понять, куда из мерзлых ям
уводит нас воздушный лабиринт,
оставив на помин лицейский ямб?

Вот лед сосет невзрачный фитилек —
арктический, должно быть, василек —
пустынный растекается квартал,
вот мертвый, весь в телегах, Вифлеем,

его необозримый краснотал,
и кто там под огнем, и глух и нем,
ест голову свою? И слеп, как крот,
молчит Гомер, и крутится фокстрот,
сквозь требуху сияет рыбий жир
спит теремок, не низок, не высок,
по перекресткам катится инжир
и пуля-дура, если не в висок,
летит тебе в затылок, пассажир.

2

То ладожский дьячок, то Мандельштам
и он, сладстена, явно не здоров,
а сам-то ты? Вот рифма «корешам»
пришла – ушла, а вот – прожекторов
плывет косяк, а следом потекли
ослиный хвост, кобылки корабли,
обозы коченеющих миров,
и что там, в той стране сошедших в ров,
луна ли там, чье дело – сторона,
прожектора ль зайндевелый зрак?

Продрогшие до нитки времена,
и не укорениться в них никак
и, пляясь в их невыплаканный мрак,

не Бога видишь в небе, а барак,
июньской тундры жиденский покров,
кукушкин лен, растущий абы как,
замерзшие могильники костров,
и прорубями – прорвой звездных ям —
глядит невоскрешенная вода.

Приходит, словно тать, заморыш-ямб,
уходит, оставаясь навсегда.

Вестник

...и резкость моего горящего ребра...

О. М.

Меняли торжищ выморочный срам
на морок боен истоиво и стадно
и обмирал по-дантовски наглядно
миндальный ствол – щегленок Мандельштам.

С ягненком-лирой в мужеских руках
ты в сердце века, царствуя над речью,
свидетель, вестник, странствуешь впотьмах,
и посох тот ледащую, овечью
вызванивает явь нечеловечью,
и вот полнеба в валенках, ногах,
не давит перекладаина на плечи.

Райкома воробьевского звезда
да гноище, где влаги не исторгнешь,
но здесь, в ночи безгрешного труда,
горит ребро. И красная вода
собирается в пробитые пригоршни.

Родина

Вино и хлеб. И гиблые места.
В грязи – из веток ивовых настил.
И синяя оленья немота
Весны. Зимой – безмолвие светил.

Занявшийся сиянием перегной,
Себя я в этой бездне разместил,
Идя сквозь виноградник Твой больной,
И видел сны. И снег со дна могил
Еще блестит под северной луной.

Волчьи изумруды

*Снегири взлетают, красногруды...
Скоро, скоро на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом северном краю*

*Павел Васильев, Лубянка,
Внутренняя тюрьма, февраль 1937 г.*

1

Вдоль пристани бредущие огни,
их изморозь просила: затаись,
в каком-нибудь поселке на Оби
женой, в конце концов, обзаведись
наймись в матросы – нам же не впервой —
в оленеводы. Бог с ней, с той Москвой —
ты вспомни! Ну, куда ты, беркуток?

Всего-то год и, смотришь, кровоток
идет на убыль, там, глядишь, война
всё, мать родна, списала бы, поди —
пересиди, Василий, погоди,
чуть пережди, и – где твоя вина?

А – нету! Смыли желтые дожди.

Культура? Краеведческий музей
ревнитель просветительских затей
когда-то основал, а где убит
был тот миссионер-архимандрит —
зачем нам знать? Ходи себе, глазами
на экспонаты, выйдешь – на дымы,
сиянья, проступившие из тьмы,
на малицы, на нарты, ротозей,
олений – городишко невелик,
но тот, в ночи, белеющий тальник...

Ты помнишь? Карандашик послуни —
и – словно нить цедит веретено —
стежок-другой и, в общем, все равно,
зачем, кому стишок твой – лишь огни
последних барж. Но канули они:
глазуньей изумрудной излились
на скулы азиата из глазниц
светильни те: не в пепельницу здесь
втыкают папироску. Ну, а как
ты думал, брат? Ты – враг. Держи пятак
Харону – перевозчику в ту весь,
где Дант бродил. Здесь, как ни посмотри,
крещеный люд – он был, да вышел весь
как с белых яблонь дым, как эта смесь.

Порхают, красногруды, снегири,

мочала на колу и там и сям
текут по всем излучинам, осям –
и, по ветру развеянный подзол,
роняет лепестки югорский мак,
во мраке озирается, и мрак,
когда не бьют, – не худшее из зол.

2

– А ну вставай, соколики, пора!
И сохнет на террасах бланманже
и стынет чай, пока он в гараже
управится, и снова кобура
зашелкнута. И тянется дымок
по всей Москве, не верящей слезам,
воды набравшей в рот, зато – каток
зато, гляди, сияет, как сезам,
нарядное, с иголки, метро,
вот только что-то зябко и мокро
и кровь, как ни бели ее с утра...

Сочится кровохлебкой решето
и со двора вывозят шофера
лежащих друг на друге неглиже
соколиков из цирка шапито:
горох об стенку или там – драже,

какой-то конь в шинели ли, в пальто
и кепке, рукоплещущий народ,
оркестр, знамена – дел невпроворот
у партии, а вот и осетры,
икра на выбор – все тебе не то...

Подправишь в парикмахерской вихры,
выходишь на Арбат – и вот в авто
уже сидишь по правилам игры,
и Ваньку не валяй – *за что, за что?* —
за просто так ломают здесь хребты,
а уж хребет поэта-гуслияра...

Струятся изумруды мерзлоты,
блестит янтарный хрящик осетра,
а кровь, как ни бели ее с утра,
сквозь известь, чем прозрачней, тем видней
подследственным: тому – на севера,
ну, а тебе – тебе в страну теней,
орел степной, листвы ненужный ком.

Сгребли тебя – забудь о северах:
подвал и крематорий на Донском;
ты – прах. Ты *невостробованный прах*,
и поздно пить боржоми, старина:
под вышку подведенная страна,
куда бы ни вела – не обессудь.

Стихи? Под скрип телег и портупей

писал один партийный грамотей:
Кому какою родина видна —
ну, в общем, лирик, в общем, ни хрена
не сообщил. К чему я? Позабудь
о родине. И, может быть, она
и о тебе забудет как-нибудь.

Нет, в самом деле: дел невпроворот
у кума: что ни день, то из ворот
соколиков вывозят шофера,
короче – то работа, то фокстрот,
то чистка, то партком et cetera.

Кому какою – да, о чем базар.
Служенье муз. Страстной ли там бульвар,
Тверской ли. И пора, мой друг, пора
ответить. Не зайти ли в этот бар?

.....

3

Шевелит жвала бедный богомол,
таращит бельма, молится, чудака,
седой, как лунь, скуластый, как монгол —
охрана! Выноси! – протек чердак,

и золотарник золотом истек
и что сказать? Окончен файв-о-клок —
несите, братцы! – гол я как сокол:
обол Харону – сталинский пятак —
а то и даром: русский? Да за так,
чего уж там, какой уж там обол...
эх, мать твою... куда ж тебя, милоч?

И – Салехарда звездный частокол:
с овцы паршивой – шерсти рыжий клок,
и – санный путь, и – что там, не пойму,
что там за лица, чьи и почему,
и лица ли, скажи, старик Ямал?

Кто к стойке пригвожден, как пьяный Блок,
кто в стойку встал и сто кривых зеркал
зажглись и повели под локоток.
То Витебский вокзал, то краснотал,
то вьется над помойкой голубок,
но гаснет, удаляется квартал,
пустынный, синий – водки бы глоток!

Но шут с ней. Да и вряд ли будет впрок —
забудь. Уж как-нибудь переживем,
сойдя во тьму и в ней мотая срок,
пока не истощится кровотока,
покуда не займется оком
летучим, беглым, перистым огнем.

* Примечание: Салехард был последней командировкой Павла Васильева между отсидкой в рязанской тюрьме с зимы 35-го по весну 36-го и последним арестом в феврале 37-го – сразу после выхода из парикмахерской на Арбате; первая строфа – дословное воспроизведение команды перед расстрелом «соколиков» в гараже «автобазы» в Варсонофьевском переулке.

Лайка по имени Чат²

Однажды растает на тулове снег
и кто был внимателен к первым стихам
собачьими ребрами выйдет на свет
в одной из неведомых северных ям.

Без кожи как древний, с Востока, поэт,
в одной из безбрежных оттаявших ям,
став шапкой татарину, выйдет на свет
кто был так внимателен к первым стихам.

Он сверху увидит, как ребра торчат
весной, когда тает безудержно снег
и некий поэт вдруг бывает зачат,
чтоб в День конституции сталинской свет

увидеть под солнцем в созвездьи Стрельца
в Обдорске – одной из неведомых ям,
где, помню, мертвец, хороня мертвеца,
завидуя мертвым, знал цену словам.

И так себя жалко, несчастный мой Чат!
Но жалко – у пчелки, а пчелок здесь нет,
как нет здесь и ночи – собачьи торчат

² Черный (*хант.*).

здесь ребра и пьют нескончаемый свет.

Ночь

Этих морозных закатов скрижали,
ягель, арктический лен, ветреница,
след самолета – все канет в развале
памяти, мудрой избытком печали,
если не горя. И ночь воцарится —
нищенство ночи, как было в начале:
пустошь, вода, неусыпная птица.

II

Натюрморт

*Здесь есть у одного мальчика пять хлебов
ячменных и две рыбки...*

Ин. 6:9

С глазами, изъеденными солью,
висят две рыбки в сетке за окном,
чешуйки света в воздухе застыли
и зимнее язычество рябины,
и птичьей лапой телебашня замерла,
продетая в кольцо «Седьмого неба».

В отчестве моем голодных нет,
и нынче даже голуби и галки
рябину не клюют, роняя снег,
волнуя невода холодных веток.

Все замерло. И как произнести
помилуй мя, где в извести часы
остановили стрелки на одних
и тех же цифрах в желтых коридорах,
где ветки, телебашни, рыбы спят,

соль в пустошах глазниц и циферблатов?

В отечестве моем голодных нет,
и делят пустошь снега вместо хлеба
пророки, что не явлены на свет
по крохам собирать все то же небо.

*Добролюбова 9/11,
7 января 1988 г.*

В амбулатории

Костистые рубиновые звезды
над ледником кремля, что безмятежен
когда-то был, но стоит ли вниманье
нам обращать на кремль – ответ известен.

Вот рвут вороны ватники на гнезда,
в часах песочных бьется струйка крови,
поскольку время – время мерзлоты —
иначе не измерить. Впрочем, время
текуче, словно дерево, а звезды...

Слабеют скверы от кровопотери,
вороны чучело воронье рвут на гнезда
и в зыбких ветках щурится огонь
отвергнутое время знаменуя
и пробегая рукопись твою.

ДЖОТТО

Не знаю, был он сладок или едок —
тот дым, что оставлял нам напоследок
один межзвездный холод колокольный:
шесты и факела, мечи и кольца,
Иуда, что пришел для поцелуя...

Молчи. И не рифмуй напропалую —
постой в своем отечестве пропащем
и посмотри: в промозглом этом сквере
так голо, что едва ли не обрящем
гармонию какую-то по мере
беспомощности и кровопотери
в норе своей, в Платоновой пещере —
в волшебном фонаре ее ледащем.

Новочеремушкинская, 11: дождь и разводы на саже

глотают ночь с проточными огнями
бездельник Моцарт щеголь Мандельштам
как в Чаше промокая в общей яме

бежит по обгорелым косякам
оврагами в черемухе над нами
белеющих зигзагов немота
отсутствием листвы напоминая
зашедшиеся в лепете уста
уже не бессловесная – иная

и роща на щеколду заперта
под ливнем шелестит хворостяная
прозрачная как плакальщица та
спешащая сама себя не зная
Бог весть к кому по плоскости листа

Думал найти я...

Думал найти я о родине слово —
звякнуло, словно медаль у слепого,
медь собирающая в электричке,
слово, которому грех поприличней
выглядеть: просто медаль у слепого,
медь собирающая в электричке.

Прогулка

На белом поле красный крест
в ночи мелькнет тебе со скорой
и станет разуму опорой:
вот поле выявленных мест
и пусть не свет еще, но все же —
в наплывах тьмы, набегах дрожи —
на белом поле красный крест.

Месяц нисан

Дети! Есть ли у вас какая пицца?
Ин. 21:5

Затекающих веток ключицы
и февраль, и фонарь, и узор
струй на стеклах течет и лучится.

Обещают нам голод и мор,
одичание в кровли стучится
и глядишь на оттаявший сор
как на груди сияющей рыбы,
и отчетливо звезды видны
сквозь разрывы, изломы, изгибы
всякой жизни и всякой беды.

Царство твое

Подем к выцветшей церкви в ночи добреду
и кивнет иерей с соли, как войду
под всеобщие своды ея на правей.

Захрипит, аки смертонька, с клироса хор
беспокойных старух, заклубится color
маляра-богомаза, и не продохнешь,
как прихлопнут тебя епитимьей, и все ж —
это Царство Твое, это Царство Твое.
Овчий двор. И не видно другого двора.

Тьма над бездной. Но если взглядишься в неё —
снег летит Вифлеемский, белеет жнивье,
словно всюду рассыпан талант серебра.

Ласточки

С паникадила на иконостас
они метались с криком заполошным
и зябли огоньки по красным площадкам,
снегов горячих жертвенник не гас.

Венчание

Несли вслед за гробом венки,
венцы доставали и вот
стоим, на помине легки,
и дождь, как положено, льет.

Взысканью погибших – свеча,
нежданному гостю – поклон.
Кадило взмывает, бренча,
пустынники смотрят с икон.

Блестит, золотясь, аналой
и ливнем набросан вчерне
рисунок судьбы в нежилой
сто лет как не нашей стране.

Лавра

Глухомань и твои купола
В тусклом золоте белом от стужи

Не во времени ты замерла
Не в пространстве красуешься вьюжном

И внезапно Земля так мала

В церкви

...глас хлада тонка и тамо Господь...
3 Цар. 19: 11-12

Вот ад, а вот – синеющий пролом
в аду твоём – аду твоей свободы,
луч в зимнем храме – зимнем и пустом —
и медленно врачуемые своды
пятидесятый слушают псалом.

Смываешь мел и смотрят очевидцы
той славы, чей и след давно угас —
Твои ученики и ученицы,
и – слезы благодарные из глаз.

Едва ли исцелению случиться,
но тонкий холод, веявший и в нас...

Неофит

цедя свой свет из прорубей прорух
в стране калик сиделок площадных
и иноков с глазами повитух
свечей в сугробах в пропастях земных
меж небом и землей висящий пух
рассеянная вязь бессвязных зим
плывет себе в свой Иерусалим
уже не плоть и кровь еще не дух
и что с того что снег непроходим

Гуляя с дочерью, читающей «Анчар» и подбирающей листья

Хорошо, что нет России...
Г. И.

Этот пот по челу, эта дрожь,
и куда ты, не вяжущий лыка?
Сам-то знаешь, куда ты бредешь,
подаяньем живя как калика?

Вихорь черный, тлетворный, а все ж —
все ж летит безголовая Ника,
сколько б нас не ложилось под нож,
и морошка блестит, голубика...

Только где бы нам на каравай
наскрести, чтоб себе не дороже,
в сумасшедший запрыгнув трамвай?
Вьются бесы, а рожь-то, рожь!

И с утра хладный пот по челу.
И никто нам... хотя – почему?
Билли Грэм во Дворце молодежи
нам поможет. А Мун, доктор Мун?
Или Алан Чумак. Это ж надо:

Алан! Алан Чумак. И ламбада.
Что ты все про суму да тюрьму?

Хватит ерничать. Не разгрести
нашей грязи, врачи-доброхоты,
огрести же... Ну что ты, ну что ты,
что ты с пригоршней праха в горсти,
как Сивилла застыла? Сивилла...
Ну, не плачь, ну прости нас, прости
дураков. Ты простила? Простила?

Все-то ищут дороженьку в рай,
в город-сад, в изумрудный свой город
стар и млад, но молю: не собирай
эту гниль, дочь скорбей, не играй
ни в потоп, ни в Содом и Гоморру!

Помнишь, рос у нас грецкий орех?
Никнут клены, дождями убиты,
но листва у них не ядовита —
тараканов без пользы, пойми ты
ей травить. А тем более тех,
что живут в голове неофита.

Цвет лазоревый, свод голубой.
как вагон из мультфильма. И враны
увиваются над головой,
словно полем им видится бранным
стольный град наш, давно сам не свой.

Да и наш ли? Куда ж мы поедем —
к попугаям ли, к белым медведям?

Вранограй на Москве, вранограй,
волчьи стаи, собачьи ли своры
и карбованцев на каравай
не приносят ни голубь, ни ворон.

Парк из окна сторожки

Он предстанет, слегка запорошен
в нитях солнечно-льдиистой парчи
за оградой возникнет, непрошен,
и ветвит неподвижно лучи,
словно этим морозным изводом
уверяет, что не было, нет
для тебя, созерцатель, исхода
кроме света и – вот он, твой свет.

Ex nihilo

Из ничего проступающим лесом
Ты завершаешь земную природу,
в воду уходишь и смотришь сквозь воду
тундровым солнцем Твоим бессловесным.

Так дописать благодарную оду
свет, колобродя, принудил сновидца,
точки над «і» расставляя к исходу
в Нарве, в глуши – не в державной столице.

Так проступает орнамент по своду,
к Пасхе отмытому: просеки, лица...

Вороний праздник

На мерзлоте в тот день, когда Архангел
Благую Весть принес Отроковице,
с зимовья возвращаются вороны
и назван этот день Вороний праздник.

Там птиц других не водится – вороны,
не ласточки, весну приносят в сени
барачного ковчега, извещают,
что кое-где уж вышла из-под снега
земля, нагая, как до погребенья,
и желтая как глянец фотографий
с приветами из черноморских здравниц.

Рассыпаны по полу эти снимки,
но дворник их уже не замечает:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.